Академия Труда и Социальных Отношений

*Кафедра философии и политологии*

##### Реферат

***«Философия М. Монтеня»***

Выполнила:

студентка

#### II курса СЭФ

5-ой группы

Овчинникова Наталья

Проверил:

# преподаватель

# Плютто П.А.

### Москва - 2003

**Мишель Эйкем *де*  Монтень** прожил 59 лет жизни. Он родился 28 февраля 1533 г. и скончался 13 сентября 1592 года.

У нег было как бы две биографии **–** «внешняя» и «внутренняя», - всё время сталкивавшиеся между собой и обе они не лишены драматизма. По своей природе Монтень – натура скорее созерцательная. «Он ленив, равнодушен к общественным обязанностям, а также к обязанностям, налагаемым дружбою и родством; он слишком занят собой» - так говорили о нём ещё в пору его юности. И вместе с тем «равнодушный к обязанностям» Монтень умел достойно их исполнять, проявляя независимость и неуступчивость характера: «Душа моя сама по себе вовсе не лишена была сильных движений, а также отчётливого и ясного взгляда на окружающее, которое она достаточно хорошо понимала и оценивала в одиночестве. Я действительно думаю, что она неспособна была бы склоняться перед силою и принуждением...»

В этих двух характеристиках – ключ не только к биографии Монтеня, но и к его творчеству.

Ему выпало жить в жестокую эпоху, целиком прошедшую под знаком религиозно-политических раздоров и безжалостных войн. Органическое отвращение к насилию и стремление остаться наедине с собой побуждали Монтеня всячески уклоняться от общественных дел, однако, будучи человеком честным, совестливым и обладающим чувством долга, он никогда не отказывался, если дела призывали его.

Повидать ему пришлось немало: в молодости он участвовал в нескольких военных походах, двенадцать лет (с 1558 по 1570 г.) был советником парламента города Бордо, не однажды посещал Париж и бывал при королевском дворе, испытал превратности далёких путешествий, бывал обманут, ограблен; пережил пожар, чуму, смерть своих детей, а на склоне лет даже попал (в качестве заложника) в Бастилию. Все последние 20 лет жизни Монтеня терзала каменно-почечная болезнь, от которой он впоследствии и скончался.

Самыми трудными оказались для него четыре года жизни - с 1582 по 1586 г., когда он был избран мэром города Бордо и получил предписание приступить к исполнению обязанностей. Почётная, но бесплатная и беспокойная должность мэра заставила Монтеня употребить весь свой ум, такт и дипломатические способности на то, чтобы в условиях гражданской войны унимать страсти, гасить конфликты и не допускать дело до крови и убийств. Как всегда в подобных случаях, он навлёк на себя недовольство обеих сторон: «На меня посыпались неприятности, которые при всех общественных неустройствах выпадают на долю людей умеренных. Притесняли меня со всех сторон, гибеллин считал меня гвельфом, гвельф - гибеллином», - вспоминал философ, так что, дождавшись окончания срока, Монтень облегчённо сложил с себя обязанности мэра, чтобы никогда больше к ним не возвращаться.

Подобные обязанности вообще не влекли его. В 37 лет он отказался от должности в бордоском парламенте и удалился в наследственное имение, где в замковой башне устроил библиотеку. Здесь, общаясь в основном с домочадцами, Монтень предался тем занятиям, которые по-настоящему его волновали: читал, размышлял, писал. Результатом его деятельности и явились **две первые книги «Опытов», выпущенные в 1580 году**. Избранный мэром, Монтень вынужден был прервать работу над своим сочинением, но в 1586 году он к ней вернулся. Два года спустя в свет вышло издание «Опытов», состоявшее уже из трёх книг. Ещё через четыре года Монтеня не стало.

Деятельный «господин мэр» и сосредоточенно размышляющий, исписывающий тысячи страниц автор «Опытов» - вот две ипостаси одного человека. Совмещались ли они и если да, то как? Сам автор сказал: « Господин мэр и Мишель Монтень никогда не были одним и тем же лицом, и между ними всегда пролегала отчётливо обозначенная граница ». В какой мере это верно? Ответить на все эти вопросы значит приблизиться к пониманию «Опытов».

Монтень вряд ли способен открыть «тайну мироздания» или возвестить нам последнюю о нём истину. Он не только не рвётся из круга повседневности, но по большей части о ней как раз и размышляет. Разумеется, он весьма начитан, но стремиться не столько сверить жизнь с философией, сколько философские книги - с жизнью. Вот почему предметом его размышлений оказываются вещи самые обыденные - «воспитание детей» и их «сходство с родителями», «обычай носить одежду», «запахи», «почётные награды», «жестокость», «раскаяние», «пьянство» и даже «большой палец руки» (таковы названия некоторых глав «Опытов»). Монтень пускается в подробные описания собственных привычек, домашнего обихода, своих пристрастий и антипатий, состояния здоровья, не стесняясь посвящать нас в интимнейшие стороны своих недугов.

Разумеется, Монтень чуждый нам французский дворянин, живший 400 лет назад, совсем не собирается нас ничему «учить», он просто искренно «рассказывает» о себе: «Я отнюдь не поучаю, а только рассказываю», - говорил автор о своих сочинениях.

Монтень принадлежит своему времени и истории культуры, которую изучают специалисты: к настоящему дню число работ о Монтене приближается к трём с половиною тысячам. И здесь нет ничего удивительного: автор «Опытов» весьма заметная, едва ли не уникальная фигура в истории западноевропейской культуры. Примечательно и то, что каждая новая эпоха склонна не только говорить о Монтене, но и заговаривать с ним; он всегда будоражил и до сих пор продолжает волновать живую философскую и художественную мысль. Шекспир полон реминисценций из Монтеня, Паскаль и Декарт спорили с ним, Вольтер его защищал. О нём писали, на него ссылались, со спорами или одобрительно, такие известные люди как Бэкон, Гассенди, Монтескье, Дидро, Бейль, Ламерти, Руссо, Пушкин, Герцен, Толстой. Даже философы и художники, в целом далёкие от Монтеня, оказались чувствительны к его мысли и таланту, - начиная с мятежного Ницше, находившего в себе «нечто от порывистости Монтеня», и заканчивая эксцентричным Сальвадором Дали, на пятом десятке расслышавшим в себе монтеневские нотки и проиллюстрировавшим «Опыты» (в 1947 году).

В первой книге «Опытов», по названию глав, можно убедиться в непритязательности первоначального замысла автора. Взявшись за перо в возрасте 39 лет, Монтень собирался лишь выписать из наиболее авторитетных морально-философских сочинений древних (Плутарх, Сенека) поучительные примеры, исторические анекдоты и афоризмы и, снабдив эти образцы античной мудрости кратким комментарием, решил преподнести их своим современникам в качестве «учебника» жизни (будь то жизни обыденной, политической или военной) - учебника, которым мог бы пользоваться «образцовый дворянин». Такие поучительные сборники были весьма распространены как в античности, так и в эпоху самого Монтеня. Отнюдь не претендуя на оригинальность, он, уже в процессе написания первой книги заметил, что приводимые им «примеры» и «афоризмы», а главное, извлекаемые из них «уроки» никак не желают складываться в универсальные «правила», годные на все времена и на все случаи жизни, а напротив, не согласуются между собой. Не без изумления обнаружив, что «правила» на глазах превращаются в «исключения», Монтень осознал, что избранный им материал нуждается не в беглых пояснениях, а в пространной рефлексии, основанной не только на прочитанном, но и на лично пережитом, увиденном, услышанном, случившимся именно с ним. И действительно, наблюдая за переходом мысли Монтеня из первой во вторую книгу (которая была закончена в 1579 г.), можно заметить усиление рефлективного начала.

Публикация первых двух книг, выдержавших три издания подряд (1580, 1582, 1587), была встречена публикой весьма благосклонно. Вскоре появилась третья книга, выпущенная вместе с двумя предыдущими - в 1588 году. Именно в ней Монтень, вероятно, почувствовал, что не исчерпал свой предмет, не высказался до конца, что сказанное его чем-то не удовлетворяет. Поэтому в издание 1588 г. он внёс более 600 добавлений, но эти добавления не продолжают и не развивают книгу, а служат своего рода комментарием к уже сказанному. Этот экземпляр с поправками Монтеня, обнаруженный в библиотеке города Бордо («бордоский экземпляр»), и лёг в основу окончательного текста «Опытов», изданного лишь в начале XX столетия.

Однако в любом случае верным остаётся следующее признание автора: «Я никогда не исправляю написанного и не ввожу в него позже явившихся мыслей, а только иногда изменяю какое-нибудь выражение, и то, чтобы придать ему другой оттенок, а не вовсе изъять его. Я хочу, чтобы по моим писаниям можно было проследить *развитие моих настроений* и чтобы каждое из них можно было увидеть в том виде, в каком оно вышло из-под моего пера. Мне будет приятно проследить, *с чего я начал и как именно изменился*». Действительно, дополняя «Опыты», Монтень корректирует, оспаривает, временами даже полностью дезавуирует ранее высказанные чужие или свои мнения, но ни в коем случае и ни при каких условиях их не упраздняет; он не переписывает свой текст, а только вписывает на полях новые мысли, отнюдь не вытекающие из предыдущих, а отмечающие новую фазу в развитии авторских «настроений»: каждая такая фаза освобождает Монтеня из плена более ранних суждений, но освобождает лишь затем, чтобы привести в темницу иных мнений по поводу рассматриваемого предмета - и так вплоть до того момента, когда автор впадает в открытое противоречие с самим собой. Если,. Например, Монтень вслед за **стоиками**, принимается восхвалять самоубийство как «избавление от всех зол», то это для него отнюдь не помеха, чтобы страницей ниже пуститься в доказательства того, что напротив, « никакие злоключения не могут заставить подлинную добродетель повернуться к жизни спиной». Он опровергает себя даже в тех случаях, когда речь заходит о важнейшем для него вопросе - об абсолютном знании, об истине. «Нет стремления более естественного, чем стремление к знанию», - не устаёт повторять Монтень и параллельно с этим прибавляет: «Стремление умножить свои познания, тяга к мудрости с самого начала были даны на пагубу человеческому роду»: «О мышление, какая ты помеха для людей! » - весьма противоречивые высказывания «учителя жизни».

Самое замечательное состоит в том, что Монтень не стремиться преодолеть или затушевать все эти противоречия, а открыто выставляет их на всеобщее обозрение: он словно подсказывает нам, что об одном и том же предмете могут существовать даже взаимоисключающие мнения - и с этим ничего не поделаешь. «Окончательный» текст «Опытов» - это не синтетический итог умственного становления автора, но скорее совокупность наслоения, накопившихся за 20 лет работы над книгой. Эти наслоения суть не что иное, как продукты и следы удвоенной рефлексии автора над одними и теми же проблемами и «мнениями» по их поводу, включая и своё собственное. Эти «мнения» Монтень подвергает неустанному анализу, результатом которого оказывается не приближение к «истине», а всего лишь смена убеждений: «…я не раз (что мне случается делать с большой охотой) принимался поддерживать мнение, противоположное моему; приспосабливаясь к нему и рассматривая предмет с этой стороны, я так основательно проникался им, что не видел больше оснований для своего прежнего мнения и отказывался от него». А нередко случается и так, что Монтень не узнаёт даже самого себя: «Даже в моих собственных писаниях я не всегда нахожу их первоначальный смысл: я не знаю, что я хотел сказать, и часто принимаюсь с жаром править и вкладывать в них новый смысл вместо первоначального, который я утратил и который был лучше. Я топчусь на месте; мой разум блуждает и мечется». Между Монтенем «вчерашним» и Монтенем тех лет возникает разрушительная дистанция.

Эта дистанция свидетельствует о том, что движение мысли автора не есть целенаправленное движение к некоему позитивному результату; это поиск, но поиск, устремлённый в бесконечность: «Мой ум и мысль бредут ощупью, пошатываясь и спотыкаясь, и даже тогда, когда мне удаётся достигнуть пределов, дальше которых мне не пойти, я никоим образом не бываю удовлетворён достигнутым мною; я всегда вижу перед собой неизведанные просторы, но вижу смутно и как бы в тумане, которого не в силах рассеять».

Монтень упорно ищет «истину», и поиск этот никогда не был им завершён.



Как мыслитель Монтень сформировался в эпоху позднего Возрождения, на излёте того культурного движения в Европе, которое принято называть ренессансным гуманизмом. Ставя своей основной задачей «возрождение» греко-римской культуры, желая наполнить её достижениями собственную, позднесредневековую цивилизацию, гуманисты осуществляли грандиозный синтез христианской «веры» и античной «мудрости». Такой синтез был возможен в той мере, в какой античность и христианство несли в себе ряд сходных и даже совпадающих черт.

Важнейшей из них был **антропоцентризм -** учение о том, что человек это очень привилегированное существо в мироздании, а само мироздание существует исключительно ради человека, для его блага. Цицерон, например, в трактате «О природе богов» создал подлинный гимн человеку, который «по природе своей превосходит все прочие живые существа» в мире, тогда как сам мир «создан ради людей, и всё, что в нём есть, изготовлено и придумано для пользы людей». Аналогично и библейское представление о человеке, созданном по образу и подобию своего творца (достаточно вспомнить строки из Библии).

Гуманизм развил антропоцентристскую идею до логического конца. «Если же очевидно, - писал в XV веке итальянский гуманист Дж. Манетти, - что прочие живые существа были созданы исключительно ради человека, то можно заключить, что единственно ради человека был создан и устроен Богом мир, поскольку он создан, как мы сказали, ради одушевлённых существ, а те - ради человека. И об этом достоверно свидетельствует то, что всё созданное предназначается для одного человека и служит ему удивительным образом, что видим мы яснее полуденного солнца. Итак, с самого начала Бог, видимо, посчитал это столь достойное и выдающееся своё творение настолько ценным, что сделал человека прекраснейшим, благороднейшим, мудрейшим, сильнейшим и, наконец, могущественнейшим».

На фоне этой двухтысячелетней традиции прославления человека позиция Монтеня выглядит по меньшей мере шокирующей. Всю свою непримиримость к антропоцентризму автор излил  **в знаменитой главе «Апология Раймунда Сабундсгого», составляющей интеллектуальное ядро «Опытов».**

«Пусть он (человек), - восклицает Монтень, - покажет мне с помощью своего разума, на чём покоятся те огромные преимущества над остальными созданиями, которые он приписывает себе. Кто уверил человека, что это изумительное движение небосвода, этот вечный свет, льющийся из величественно вращающихся над его головой светил, этот грозный ропот безбрежного моря, - что всё это сотворено и существует столько веков для него, для его удобства и к его услугам? Не смешно ли, что это ничтожное и жалкое создание, которое не в силах даже управлять собой и предоставлено ударам всех случайностей, объявляет себя властелином и владыкой Вселенной, малейшей частицы которой оно даже не в силах познать, не то что повелевать ею! На чём основано то превосходство, которое он себе приписывает, полагая, что в этом великом мироздании только он один может воздать хвалу его творцу и отдавать себе отчёт в возникновении и распорядке Вселенной? Кто дал ему эту привилегию? Пусть он покажет нам грамоты, которыми на него возложены эти сложные и великие обязанности». «По суетности воображения он равняет себя с Богом, приписывает себе божественные способности, отличает и выделяет себя из множества других созданий», тогда как на деле он «помещён среди грязи и нечистот мира, он прикован к худшей, самой тленной и испорченной частим Вселенной, находится на самой низкой ступени мироздания, наиболее удалённой от небосвода, вместе с животными наихудшего из трёх видов».

Здесь и происходит момент разрыва философии Монтеня с гуманистической концепцией. Он, принципиально настаивая на «сходстве в положении всех живых существ, включая в их число и человека», который «не выше и не ниже других», сталкивается с вопросом о границах человеческого знания, о доступности для человека истины. В результате он вступает в **конфликт** с одним из наиболее авторитетных учений своего времени – с учением о «естественной теологии». Естественная теология, разработанная ещё в XIII веке Фомой Аквинским, исходила из того, что, двигаясь логическим путём от следствий к причинам, то есть от творения к творцу, можно, в конечном счете, дойти до «первой причины» всех явлений и всего мироздания - до Бога. Иными словами, если Бог есть абсолютное бытиё и абсолютная истина, то человек – это как раз то исключительное существо, которому одному дано, пользуясь средствами разума, бесконечно приближаться к этому бытию, проникать в «первопричину», в самую сущность вещей: раскрывая для себя окружающий мир, человек раскрывает и создавшего этот мир Бога - последнюю, безотносительную истину бытия. Таким образом, пафос естественной теологии в том, чтобы максимально согласовать данные разума со сверхразумной верой, а истины, добываемые «светскими», положительными науками, с истиной Откровения.

Пафос Монтеня прямо противоположен: он направлен на то, чтобы как можно дальше развести человеческие науки, человеческое знание, с одной стороны, и истины христианской веры – с другой.

Абсолютное бытие (Бог), по Монтеню, настолько превосходит все возможности человеческого разума, все «естественные» способности человеческого познания, что предстаёт как непостижимое начало мира, отделённое от человека непроницаемой завесой тайны. «Мы не имеем никакого общения с бытиём», - утверждает Монтень, - «уловить бытие равносильно желанию удержать в пригоршне зачерпнутую воду». Если и возможно единение человека с Богом, то оно достижимо отнюдь не за счёт человеческих усилий, а за счёт инициативы самого Бога, проявляющейся в актах Откровения и Благодати: «Человек не в состоянии подняться над собой и над человечеством, ибо он может видеть только своими глазами и постигать только своими способностями. Он может подняться только тогда, когда богу бывает угодно сверхъестественным образом протянуть ему руку помощи: и он поднимается, если откажется и отречётся от своих собственных средств и предоставит поднять себя и возвысить небесным силам. Только наша христианская вера, а не стоическая добродетель может домогаться этого божественного и чудесного превращения, только она может поднять нас над человеческой слабостью».

Позицию Монтеня, отстаиваемую в «Апологии» принято называть скептическим фидеизмом. Как таковой, фидеизм, утверждающий приоритет веры над знанием и, соответственно, приоритет «сверхразумных» истин над истинами «разумным» имеет не менее давнюю историю, чем «естественная теология», и потому Монтень вовсе не оригинален, когда восклицает: «Если даже ты доля разума, которой мы обладаем, уделена над небом, как же может эта крупица разума равнять себя с нами? Как можно судить о его сущности и его способностях по нашему знанию!».

**Оригинальность** **Монтеня**, прежде всего – именно в тех скептических выводах, которые он делает из фидеистической позиции. Поскольку истина Откровения неизмеримо превосходит все человеческие понятия и представления, постольку потусторонние стремления внушают автору «Опытов» не отказываться от разума, но подвергнуть его испытанию, посмотреть, чего он стоит, будучи предоставлен самому себе, - таков замысел Монтеня.

Монтень обнаруживает, что мир явлений не принадлежит к божественному (вечный, неизменный), явления предстают перед нами всего лишь как подвижные, неустойчивые, неуловимые «видимости», «кажимости». Однако такой мир не поддаётся однозначной «расшифровке» - причём не только в силу собственноё изменчивости, но и в силу «недостоверности и слабости» чувств самого человека: во-первых, по способности восприятия он уступает даже животным, одни из которых превосходят его слухом, другие – зрением, третьи – обонянием и т.п.; во-вторых, сама эта способность меняется то человека к человеку; в-третьих, она зависит от «телесных изменений», которые с нами происходят (у больного зрение не то, что у здорового, окоченевшие пальцы иначе ощущают твёрдость дерева и т.д.). Одним словом, «так как мы приноравливаем вещи к себе и видоизменяем их, считаясь с собой, то мы в конце концов не знаем, каковы вещи в действительности, ибо до нас всё доходит в изменённом и искажённом нашими чувствами виде», причём, довольствуясь «чисто человеческими средствами», преодолеть это положение нет никакой возможности: «Чтобы судить о видимостях, нам нужно было бы обладать каким-то оценивающим инструментом; чтобы проверить этот инструмент, мы нуждаемся в доказательствах, а чтобы проверить доказательства, мы нуждаемся в инструменте: и так мы оказываемся в прочном замкнутом кругу».

Но дело не ограничивается областью одних только чувств. Ведь «чувства являются началом и венцом человеческого познания», а потому и наш интеллект не может претендовать на владение сколько-нибудь достоверной истиной о вещах. Лучшее тому доказательство – борьба и смена различных философских и натурфилософских концепций.

Хаос открывается Монтеню и тогда, когда он погружается в область человеческой морали, в область обычаев, традиций, верований, общественных установлений и законов, совершенно не похожих на европейские. Так, существуют народы, где оплакивают смерть детей и празднуют смерть стариков, где ни разу в жизни не стригут ни волос, ни ногтей, где «почтительный» сын обязан убить своего отца, достигшего известного возраста, где не считают постыдным иметь детей от собственной матери, где красивыми считаются женщины с бритыми головами и т.п.

Какие из этих «привычек следует признать «нормальными», отвечающим человеческой «природе», а какие – нет? – задаётся вопросом Монтень. Ведь американскому индейцу европейские законы представляются такими же нелепыми и извращенными, какими кажутся европейцу. Может ли философ, вынесший бога «за скобки», найти всеобщий, общеобязательный, иными словами, «естественный» закон для человечества, незыблемые критерии истины? И Монтень отвечает: «Если человек признаётся в незнании первопричин и основ, то он должен решительно отказаться от всей остальной науки; ибо если он не знает основ, то его разум влачится по праху, ведь целью всех споров и всякого исследования является установление принципов, а если эта цель так и не достигнута, то человеческий разум никогда не может ничего решить».

Автор «Апологии» заметно предпочитает другим философам, с большим сочувствием цитировать излюбленные формулы античного скептика Секста Эмпирика. И подобно ему скептик–Монтень констатирует: «Ничто я не обсуждаю так основательно, как НИЧТО, и единственное знание, о котором я говорю, это НЕЗНАНИЕ».

Однако скептицизм вовсе не «идеал», к которому стремится Монтень. Напротив, для него это скорее точка отталкивания или рубеж, который подлежит преодолению. (Не случайно после 1580 года Монтень больше не обращается к Сексту Эмпирику). Уже в «Апологии» автор замечает, что для скептиков характерна «чрезмерность сомнения», которое «само себя опровергает», а признавая относительность морали, меняющейся от страны к стране, он делает это как бы скрепя сердце: «Такая изменчивость суждений не по мне. Что это за благо, которое я вчера видел в почёте, но которое завтра уже не будет пользоваться им и которое переезд через какую-нибудь реку превращает в преступление?»

Добровольно погрузившись в мир без истины, Монтень немедленно обнаруживает всю его «неуютность», причём «неуютность» не только философскую, но и самую практическую - невозможность найти твёрдые критерии каждодневного поведения среди людей. Монтеня заботит не только то, что следует думать о жизни, но и – в первую очередь – как её прожить. **Вопрос о жизни** для автора «Опытов» совершенно конкретен. *Потребность* в истине, побуждающая Монтеня с придирчивой требовательностью всматриваться в лицо окружающей действительности, открывает её глубокую неподлинность: «Истина, которая ныне в ходу среди нас, это не то, что есть на самом деле, а то, в чём мы убеждаем других».

Монтень очень любил сравнивать мир с театром, а людей - с актёрами, надевшими маски. Ведь коль скоро существует «маска», то, значит за ней должно скрываться «лицо»; если человек может «казаться», то, следовательно, он может и «быть, если он ведёт себя «искусственно», то, вероятно, способен и к «естественности».

В отличие от скептиков Монтень не обходит вопрос об истине. Он переносит его из привычной для христианства плоскости «потустороннее – посюстороннее» в плоскость «посюстороннего». А это рождает неведомые ранее проблемы. Прежде всего, проблему отношения ко всем тем «мнениям» о мире и человеке, которые уже были высказаны и с которыми ему приходиться столкнуться.

Действительно, Монтень жадно вслушивается во всё многообразие существующих точек зрения на человека, впитывая житейскую мудрость горожан и крестьян, живо реагируя на позиции поэтов и публицистов, политических деятелей, военных и т.п. Но **особое внимание у Монтеня**, сформировавшегося в среде гуманистической традиции, **вызывают** **теории** древних философов – от Сократа и Платона до стоиков, эпикурейцев и скептиков.

Античность создала различные морально-эстетические теории, «доктрины», каждая из которых, претендуя на «истинность», тем самым неизбежно вступала во всевозможные раздоры и распри с другими теориями. Монтень преклонялся перед мудростью древних: «Их писания не только удовлетворяют и заполняют меня; они поражают и пронизывают меня восхищением». Временами автор «Опытов» может показаться либо прилежным учеником в философской школе античности, либо воплощением философской безвольности: «Писания древних прельщают меня <…> и влекут туда, куда им угодно; тот из них, кому я внимаю в данный момент, всегда кажется мне самым правым: я полагаю, что все они правы по очереди, хотя и противоречат друг другу».

Монтень, однако, понимает, что если истина существует, то она – одна, едина и неделима; ею можно либо владеть полностью, либо не владеть вовсе. Поэтому если «все правы по очереди», то, значит, не прав никто. Беда любой доктрины в том, что, претендую на установление всеобщих «правил», ей рано или поздно приходится признать и «исключения», которых со временем накапливается так много, что само «правило» способно показаться «исключением».

Отношение Монтеня к чужим философским теориям далеко от легковерной расслабленности, оно напротив не лишено своеобразной напряжённости, то и дело перерастающей в настороженность. Он никогда не доверяется какому-нибудь одному авторитетному «мнению», презрев все прочие. Особенность его повествовательного принципа – не в доктринальном изложении тех или иных учений о человеке, а в оговорочном пересказе отдельных суждений по той или иной теме, конкретному предмету**:** он не принимает теории полностью, но и не отвергает их до конца. Как бы ни «прельщали его те или иные «писания», они увлекают его лишь до определённого момента, а затем возникает всё нарастающий критический разрыв, так что в конце концов любое «мнение» превращается для Монтеня из возможного источника знания в простой документ, свидетельствующий лишь о состоянии ума соответствующего автора: «Мне всегда доставляет удовольствие читать произведения различных писателей, не заботясь о том, много ли они знают: *меня занимает* не сам предмет их, а то, *как они его трактуют*. Точно так же я стараюсь завязать знакомство с тем или иным из прославленных умов не для того, чтобы он мня учил, а для того, *чтобы узнать его самого*»*.*

Монтень считал, что ни одна из теоретических систем не в силах уловить абсолютную истину, именно потому он противопоставляет «теории» «жизнь». Все теории тщатся подчинить себе жизнь, исчерпать её до дна и, без остатка переложив на язык отвлечённых понятий, втиснуть в схему, тогда как подвижная, изменчивая, многоликая жизнь постоянно разрушает любые теоретические идеи, как бы прорастает сквозь них и ускользает от любой готовой философской «формы»**.** Монтень переворачивает привычное отношение между жизнью и рефлектирующей над ней мыслью: у него не жизнь поверяется мыслью, а сама мысль подвергается испытующей проверке со стороны жизни. Однако этот переворот не приносит Монтеню никакого успокоения, она не снимает, а обостряет проблему истины. Жизненная стихия, предоставленная самой себе, не подчинённая никакому общеобязательному «закону», вызывает у Монтеня открытое недоверие, иногда даже страх и неприязнь.

Так возникает новый круг исканий Монтеня, позволяющий объяснить беспорядочность и бессистемность самой формы «Опытов». Беспорядочность эту отмечали критики Монтеня, так французский писатель Гёз *де* Бальзак (XVII в.) сравнивал «Опыты» с «разъятым, расчленённым на куски телом»; «хотя части этого тела приложены друг к другу, они всё же существуют порознь».

Да и сам Монтень говорил об этом: « По правде говоря, что же иное и моя книга, как не те же гротески, как не такие же диковинные тела, слепленные как попало из различных частей, без определённых очертаний, последовательности и соразмерности, кроме чисто случайных?».

Монтень резко и совершенно сознательно порывает с той традицией сочинения трактатов на морально-философские темы, которая господствовала в эпоху гуманизма. Эта традиция предполагала два (восходящих к античности) способа построения того или иного рассуждения – риторический и дискурсивно-логический и, соответственно, два метода – метод убеждения и метод доказательства.

Риторика, будучи «искусством убеждения», озабочена не столько поиском истины, сколько задачей воздействия на аудиторию, которой надлежит внушить те или иные мысли, представления (мнения) независимо от того, насколько они справедливы, соответствуют действительности и т.п. Именно поэтому

Монтень называет риторику «искусством льстить и обманывать». Признавая, что «умение красиво говорить – превосходная и весьма полезная вещь», он не без язвительности замечает, что ритор №настолько увлекается своей собственной речью, что не слышит собеседника и отдаётся лишь ходу своих мыслей, не обращая внимания на ваши»: «красноречие, отвлекая наше внимание на себя, наносит ущерб самой сути вещей».

Не удовлетворяет Монтеня и логическая аргументация, с её безупречно строгим движением мысли от посылок к следствиям – движением, выстраивающим цепочку умозаключений, неизбежно приводящих к искомому выводу, своим открытым монологизмом, задачей подчинить себе партнёра по разговору, а не вступить вместе с ним на путь поиска ещё неведомой истины. «Для меня, тот, кто хочет стать только более мудрым, а не более учёным или красноречивым, эти логические и аристотелевские подразделения ни к чему». Монтень ищет суждения, которые затрагивали бы **самую суть дела**, между тем как Цицерон ходит вокруг да около. «Его манера хороша для школы, - говорит Монтень о философии Цицерона, - для адвокатской речи, для проповеди, так следует разговаривать с судьями, которых не мытьём, так катаньем хотят склонить на свою сторону, с детьми и с простым народом, которому надо рассказать обо всём, чтобы его пронять».

Монтень *противопоставляет* этой нарочитой искусственности риторического и логического дискурса *свою естественную непринужденность, произвольность собственного способа философствования*: «У меня нет другого связующего звена при изложении моих мыслей, кроме случайности. Я излагаю свои мысли по мере того, как они у меня появляются: иногда они теснятся гурьбой, иногда возникают по очереди, одна за другой. Я хочу, чтобы виден был естественный и обычный ход их, во всех зигзагах. Я излагаю их так, как они возникли».

Действительно, практически каждая глава «Опытов» построена на парадоксальном совмещении и динамичном чередовании самых различных точек зрения, на их парадоксальном переключении, взаимном разрушении и неожиданном возрождении в новом качестве и т.п.; причём в круговорот неуспокоенного монтеневского сознания оказываются вовлечены абсолютно чуждые друг другу пласты бытия – от высокого философского умозрения до чисто физиологических и даже скатологических наблюдений. (Например, это видно в начале главы «О суетности», где рассуждения о Пифагоре и Диомеде невозмутимо поясняются сравнениями, взятыми из области «отправлений желудка»). И всё ж, сам обращая внимание на непрерывную «сумятицу» своих мыслей, Монтень настаивает, что в этой путанице есть «порядок» своих мыслей,

что его мысли «следуют одна за другой – правда, иногда не в затылок друг другу, а на некотором расстоянии, но они всё же всегда видят друг друга хотя бы краешком глаза».

Они «видят друг друга» потому, что всегда объединены неким общим предметом – вещью, темой, проблемой, и поскольку проблемы «мучают» Монтеня неотступно, он словно стремится исследовать их с разных сторон, испробовать разные подходы, подобрать различные ключи. Вот эти постоянные «кружения» мысли, её постоянные отходы в сторону Монтень и назвал «отступлениями»; отступления не уводят от проблемы, но приводят к ней с неожиданной стороны: «Предмету не наносится никакого ущерба, если от него отступают, чтобы найти правильный способ рассуждать о нём». Отступление – это обычный способ устного диалога, живой беседы. «Самое плодотворное и естественное упражнение нашего ума – по-моему, беседа». Этот способ притягивает Монтеня как идеал, не случайно он так часто и с такой похвалой упоминание сократические диалоги Платона. Поэтому и «порядок», которого требует автор «Опытов», - это именно диалогический порядок, присущий не столько учёному диспуту, сколько непринуждённому житейскому спору; «Я требую не столько силы и тонкости аргументов, сколько порядка, того порядка, который всегда соблюдаю в своих словесных распрях пастухи или молодцы, стоящие за прилавком, но никогда не соблюдаем мы. Если беспорядок и возникает то потому, что спор переходит в перебранку, а это случается и у нас. Но пыл и раздражение не уводят от сути спора: речь идёт всё о том же».

У Монтеня нет такой возможности сделать беседу, дискуссию взаимной, потому что он не разговаривает, а пишет, и как всякий пишущий находится наедине с самим собой: рядом с ним нет ни одного человека, который мог бы его расспросить или переспросить, усомниться в его точке зрения, оспорить или подтвердить его мнение. Монтень вынужден делать всё это сам: не доверяя чужим точкам зрения на мир, он не склонен отдавать предпочтение и своей собственной. Каждую секунду он готов уличить себя в неточности, а то и в ошибке. «Но что если я считаю вещи тем, чем они на самом деле являются?» - это испуганное восклицание рефреном проходит сквозь все «Опыты».

Вот почему Монтень сам себя постоянно допытывает и корректирует, превращая собственный текст в бесконечный критический атокомментарий**.** Так отчасти **проясняется название самой книги Монтеня**, которая есть не что иное, какмножествоопытов, экспериментов, поставленных авторской мыслью над самою собой. Внешняя беспорядочность книги лишь выражение незавершённости этих опытов, имеющей основания в самой личности писателя.

Наряду с внешней действительностью и большинством чужих мнений о ней  **в «Опытах» существует ещё один, самый главный объект анализа – « я » самого Монтеня.** «Содержание моей книги – я сам», - заявляет автор уже в предисловии. «Вот уже несколько лет, как все мои мысли устремлены на меня самого, как я изучаю и проверяю только себя, а если и изучаю что-нибудь другое, то лишь для того, чтобы неожиданно в какой-то момент приложить это к себе или, вернее, вложить в себя». Одним словом, тот предмет, который изучал автор больше всего иного, - это он сам, это моя метафизика.

Монтеня понимает, что «я» всегда выявляется через его отношение к «другому», причём на первых порах это отношение рисуется автору как чисто негативное, как абсолютный разрыв между лицом и маской: «Люди не видят моего сердца, они видят лишь надетую мною маску». Маска – всего лишь продукт зависимости от «других», от их оценки, взгляда, слова, реплики. Поскольку же все эти «мнения» постоянно меняются, то «искать опоры в одобрении окружающих значит опираться на, то что крайне шатко и непорочно». Отсюда готовность Монтеня полностью уйти в себя: «Я не столько забочусь о том, каков я в глазах другого, сколько о том, каков я сам по себе».

Для Монтеня, мыслителя рационалистического склада, единственный способ обнаружить самого себя – познавательно-аналитический, принимающий форму самонаблюдения. Самонаблюдение же обязательно предполагает раздвоение личности на «я» наблюдаемое и на «я» наблюдающее, на объект и субъект анализа, причём искомое единство личности можно обрести лишь тогда, когда эти два «я» придут в гармонию и анализируемый получит одобрение со стороны анализирующего. «Чем больше я сам с собою общаюсь и себя познаю, тем больше удивляюсь своей бесформенности, тем меньше разбираюсь что же я, собственно такое». И тем не менее, признавая, что «нет описания более трудного, чем описание самого себя», Монтень немедленно добавляет: «и в то же время нет описания более полезного».

Польза, о которой говорит Монтень, связана не с возможностью человека познать истину о себе самом, а с его способностью  *быть истинным*. Все хаотические проявления личности, описанные Монтенем, истины потому, что они *спонтанны*; они представляют собой бесконечно многообразные и ничем не связанные друг с другом моменты самообнаружения человека.

Каждый из таких моментов – это рождение нового «я», которое появляется на свет лишь для того, чтобы быть сменённым другим, новым «я» - и так до бесконечности: «Я ставлю своей целью показать себя здесь лишь таким, каков я сегодня, ибо завтра, быть может, я стану другим». Однако «завтрашнее» «я» окажется таким же не посредственным, самоочевидным и самоценным, как и «сегодняшнее», «вчерашнее» и т. п., и потому все они абсолютно равноправны: «Я тогдашний и я сегодняшний – совершенно разные люди, и какой из нас лучше, я, право, не взялся бы отвечать».

Самонаблюдение, основанное на самоизоляции и на противопоставлении себя «другим», не приносит Монтеню желанного успокоения. Напротив, бесконечно дробясь, становясь подвижной и почти призрачной, человеческая личность оказывается таким же «ветром» и «ничто», как и все прочие «вещи» в подлунном мире. «Мы совсем полые и пустые» - не устаёт жаловаться Монтень. Лишённый всякой опоры вовне, человек обнаруживает внутри себя лишь бездонную пропасть, онтологическую безосновность. Но Монтеню трудно примириться с этим.

Движение философской мысли Монтеня от первой к третьей книге «Опытов» нередко описывают как переход от стоицизма к скептицизму. Такой переход обычно связан с нарастанием у человека чувства внутренней свободы не только по отношению к миру и другим людям, но даже к самому себе. Пределом подобной свободы является универсальное сомнение, не щадящее и самого сомневающегося. Скептическое сознание, будучи последовательным, в конце концов, как показал Гегель в «Феноменологии духа», превращается в «несчастное сознание», каковым и должно было бы стать сознание Монтеня. Но у него этого не происходит, напротив, парадокс и важнейшая особенность «Опытов» заключается в том, что Монтень решительным жестом превращает «несчастное сознание» в своего рода «счастливое сознание».

Это произошло вопреки универсальности сомнения Монтеня, его философия отнюдь не разрушительна по своей сути. Положительная направленность позиции Монтеня в том, чтобы, отказавшись от антропоцентрической героизации человеческого рода, признав «всё ничтожество человеческого удела», не отчаяться и не преисполниться презрения к жизни как таковой, а, напротив, отстоять её права и научиться «искусству жить достойно» не столько в экстремальных, сколько в самых обыденных ситуациях.

Уже давно было замечено, что Монтень, словно бы гордящийся случайностью и необязательностью собственных «мнений», на самом деле «окружает облаком сомнения очень плотное ядро своих категорических утверждений». В отличие от скептиков, подчёркивавших, что ни в одной области (ни в философии, ни в науке, ни в этике) они не придерживаются каких-либо определённых взглядов, Монтень с самого начала ищет - и находит (по крайней мере для себя) – некую «истину», но не всеобъемлющую «истину бытия», а вполне конкретную *истину жизненного поведения*  *в окружающих его обстоятельствах.* Делает он это, однако, не путём пресловутого диалектического «анализа» подмечаемых им на каждом шагу противоречий, а путём их своеобразного «узаконивания».

**Важнейшим** в «Опытах» является противоречие между «я» и «другими», между «личностью» и «обществом». На первый взгляд проблема представляется не слишком сложной: если общество лживо и извращенно, то оно должно быть подвергнуто критике и стать объектом безжалостного осуждения во имя «я», какие бы трудности ни встретились на пути его обретения. Так и делает Монтень, он инстинктивно ставит между собой и «другими» непроницаемую перегородку. В какой-то момент он даже доходит до того, что утверждает существование двух моралей: одной – «внутренней», вырастающей из «естественной» человеческой природы, а другой – внешней, определяемой искусственными и условными требованиями человеческого «общения». «Для суда над самим собой у меня есть мои собственные законы и моя собственная судебная палата <…>; другие видят не столько вашу природу, сколько ваше умение вести себя среди людей; поэтому не считайтесь с их приговором, считайтесь лишь со своим». Отсюда и возникает стремление Монтеня изолироваться от жизни; он испытывает искушение «учёного отшельничества»; его увлекает идея *неучастия*, поиск такой безопасной точки, откуда можно было бы спокойно созерцать драмы и трагедии «других».

Совесть, как говорил Монтень, есть ничто иное, как социальные нормы и ценности, признанные личностью «своими», внутренне усвоенные. Таким образом, стена между «своим» и «чужим» оказывается отнюдь не столь прочной, как казалось, поскольку знать собственную «подноготную значит просто-напросто объективировать её, увидеть глазами людей или общественных определений, чей авторитет мы принимаем добровольно. Вот почему, делает вывод Монтень, скрыть своё «я» от окружающих равносильно тому, чтобы скрыть его от себя, а высказать его вовне значит признать над собой власть и суд социальных оценок: **«Нужно увидеть и постигнуть свои недостатки, чтобы уметь рассказать о них. Кто таит их от другого, тот таит их от себя, от собственной совести» -** дно из знаменитых высказываний Монтеня.

Вот почему человек не только не может, но и не хочет избежать зависимости от окружающих; он сам тянется к ней: «Нас не столько заботит, какова наша настоящая сущность, что мы такое в действительности, сколько то, какова эта сущность в глазах окружающих. Даже собственная одарённость и мудрость кажутся нам бесплодными, если ощущаются только нами самими, не проявляясь перед другими и не заслуживая их одобрения».

Иными словами, «познать себя» значит «быть познанным другими». Поскольку же «самопознание» - одна из основных задач автора «Опытов», она не может быть достигнута путём стихийного и бесконтрольного «самовыражения», но требует тщательного и продуманного «самоизображения», строящегося с постоянной оглядкой на других, - не для того, чтобы угодить им, а чтобы

свериться с их точкой зрения, с помощью чужого взгляда уловить свой подлинный облик. К своему удивлению Монтень не может обнаружить этот облик сразу, с первой попытки; он требует постоянных усилий и вглядываний в себя: «Рисуя свой портрет для других, я вместе с тем рисовал себя в своём воображении, и притом красками более точными, нежели те, которые я применял для того же ранее». «Портрет», создаваемый в «Опытах», - это менее всего результат пассивного запечатления неподвижного «оригинала», поскольку сам оригинал выявляется и формируется в процессе изображения: «Пока я снимал с себя слепок, мне пришлось не раз и не два измерить себя в поисках правильных отношений, вследствие чего и самый образец приобрёл большую чёткость и некоторым образом усовершенствовался». Совершенствующийся, изменяемый, исправляемый от главы к главе, автопортрет Монтеня в «Опытах» - это продукт напряжённого самопонимания автора, ощущающего направленные на него со всех сторон взгляды «других».

Существует и второе препятствие, мешающее самоизоляции Монтеня. Нет сомнения, что он искренен, когда говорит о своей «малопригодности для дел, выполняемых сообща». Или исповедуется в том самом чувстве «одиночества в толпе», которое будет столь выразительно описано Бодлером и которое заставляет Монтеня «внутренне съёживаться и уходить в свою скорлупу». «Толпа, - признаёт автор «Опытов», - заставляет меня замыкаться в себе, и нигде я не беседую сам с собой так безудержно и откровенно, с таким увлечением, как в местах, требующих от нас сугубой почтительности и церемонного благоразумия».

Монтень знает, однако, что в нём живут и прямо противоположные склонности, он чувствует, что «рождён для общества и для дружбы», и весь «обращён к внешнему миру». Движимый стремлением остаться наедине с собой, он вскоре замечает, что исподтишка всё время наблюдает за тем, что происходит вокруг него, причём наблюдает отнюдь не безучастно, как ему мечталось, а, напротив, весьма заинтересованно, ибо, оказывается, подобные наблюдения позволяют ему судить не только о чужой жизни, но и о том, как «соответственным образом устроить свою».

Между «я» и «другими» возникает какая-то, самому Монтеню ещё не вполне ясная, общность, побуждающая его переживать добровольное уединение как измену людям, испытывать по этому поводу угрызения совести и в конце концов не без удивления признаться, что одиночество не только не приводит его к самососредоточению, а скорее «раздвигает и расширяет круг моих интересов, выводя меня за пределы моего «я»; «никогда я с большей охотой не погружаюсь в рассмотрение дел нашего государства и всего мира, как тогда, когда я наедине с собой». Более того, в случае необходимости Монтень готов прямо вмешаться в общественные события и сделать это со всей присущей ему твёрдостью.

Таким образом, между бездной, отделяющую «я» от «других», существует связь, которую, однако, Монтень не желает связать. Не отвергая полностью контакты с обществом («нашу деятельность, наши труды, наше состояние и саму нашу жизнь надлежит предоставить обществу на службу»), он тем не менее заявляет: «Даже общему и правому делу я привержен не более чем умеренно, и оно не порождает во мне особого пыла». Так **возникает оригинальное «кредо» автора «Опытов»:** «…чувствам, отвлекающим меня от себя и привязывающим к чему-либо другому, - им я противлюсь изо всех сил. Я считаю, что хотя и следует одалживать себя посторонним, отдавать себя нужно только себе самому».

Монтень потому лишь «одалживает», а не отдаёт навсегда, себя обществу, что боится попасть к нему в кабалу, боится таящейся в нём принудительной силы. Он во что бы то ни стало хочет сохранить независимость, свойственную «мудрецу», «оберегающему свою душу от всякого гнёта, дабы сохранить ей свободно судить обо всём». В результате Монтень как бы раздваивается. «Нужно добросовестно играть свою роль, - говорит он, - но при этом не забывать, что это всего-навсего роль, которую нам поручили. Маску и внешний облик нельзя делать сущностью, чужое - своим, господин мэр и Мишель Монтень никогда не были одним и тем же лицом, и между ними всегда пролегала отчётливо обозначенная граница». Стоя по разные стороны этой границы, «Мишель Монтень» и «господин мэр» то готовы отвернуться друг от друга, то протягивают друг другу руки. Влекомый к двум прямо противоположным полюсам, автор «Опытов» ни одному из них не отдаёт предпочтения, но ни один и не отвергает. Он ищет не примирения этих полюсов, а своего рода «третий путь», пролегающий между ними.

В главе «Опытов» - «О жестокости» два полюса представлены двумя видами «добродетели» - «стоической» и «сократовской». Первая связана с испытанием человека различными трудностями; она предполагает «боль, нужду, презрение, чтобы с ними бороться и сохранять душу в боевой готовности». Вторая же не требует даже борьбы, поскольку находится на такой высоте, что «не только презирает страдание, но даже наслаждается им, упивается им», когда «стойкость и уверенность в себе» переходят «в какое-то радостное веселие и совершенно новую удовлетворённость». В обоих случаях, подчёркивает Монтень, от человека требуется особая воля, связанная как с « усилиями и предписаниями разума», так и с «обучением», воспитанием, наставлениями, «занятиями».

Искренне восхищаясь добродетельными людьми обоих родов, Монтень вместе с тем вынужден признать, что в нём самом нет ни «боевой готовности», ни «добродетельной привычки». Более того, ему просто нечего побеждать в себе, ибо единственное, чем он может похвастать, так это отсутствие наиболее тяжких пороков и наличие таких, которые преодолеваются без всякого труда.

Отрицая за собой оба вида «совершенства», **Монтень относит себя к третьей породе людей**, **обладающих всего лишь «хорошими природными склонностями»**: «Моя добродетель – это добродетель или, лучше сказать, безобидность, случайная и преходящая». Случайная и преходящая «невинность» не требует ни силы, ни активности души, но, проигрывая по сравнению с «добродетелями» Сократа, обладает скромным, но неистребимым достоинством «природности», «врождённости»: «Хорошие качества не воспитаны во мне ни законом, ни наставлением, ни путём какого-нибудь другого обучения. Мне присуща *естественная доброта*, в которой немного силы, но нет ничего искусственного».

Человеку, обладающему качествами «естественной доброты» и «безобидности», не приходится рассчитывать на великую славу; Монтень знает, что недостоин восхищения. Но он знает и то, что если сила Сократа или стоиков заключалась в преодолении зла, исходящего от «других», то **его собственное достоинство – в принципиальном неприятии любого зла как такового***: «я жестоко ненавижу жестокость – это наихудший из пороков».*

Подлинное и ничем не заменимое достоинство Монтеня – в его сострадательности, в органическом умении сочувствовать всем живым существам: «Я до такой степени чувствителен, что не переношу, когда режут цыплёнка или когда слышу, как верещит заяц в зубах моих собак». «Другие» для Монтеня – это объекты, на которые направлена его «доброта»: «…я горячо сочувствую чужим печалям и плакал бы вместе с горюющим, если бы умел плакать в каких бы то ни было случаях. Слёзы, не только искренние, но и притворные, всегда вызывают у меня желание плакать <…> Я не могу спокойно переносить казни, даже если они совершаются по закону и оправданы».



Итак, мы подходим к ключевой проблеме «Опытов». Монтень отвергает мир «других» лишь в меру его неистинности, больше всего опасаясь утраты свободы, самостоятельности. Он не чувствует себя ни изгоем, ни избранником. Жизнь притягивает его, и задача заключается лишь в том, чтобы овладеть «искусством жить достойно».

Монтеню чужды эгоцентризм и горделивое самолюбие, которые полтора столетия спустя так ярко проявятся в «Исповеди» Руссо, заявлявшего, что он «не похож ни на кого на свете», что если он «не лучше других, то по крайней мере не такой, как они», и утверждавшего, что именно эта инаковость способна сделать его интересным для окружающих. Монтень же, коль скоро речь заходит о человеческой «природе», не отделяет себя от «других»: «все люди – одной природы, и все они снабжены в большей или меньшей степени одинаковыми способностями и средствами познания и суждения»; «у каждого человека есть всё, что свойственно роду людскому». Сама аналитическая интроспекция нужна Монтеню и потому, что, поняв себя, он надеется познать и «других».

Именно в силу «похожести» на «других» Монтень остро ощущает свою способность быть таким же как они. Сопереживать для нег так же естественно, как дышать: «Если кто-нибудь страдает в моём присутствии, я сам начинаю испытывать физические страдания и мои ощущения часто вытесняются ощущениями других. Я перенимаю наблюдаемую болезнь и испытываю её на себе».

Монтень, правда, знает, что сострадание не вполне «чистое» чувство, до конца избавленное от жестокости: «Жалея кого-нибудь, мы при виде его страданий одновременно ощущаем в себе и некое мучительно-сладостное щекотание злорадного удовольствия; и кто истребил бы в человеке зачатки этих качеств, тот уничтожил бы основания, на которых основана наша жизнь». Тем не менее даже такое «сострадание наизнанку» лишь подчеркивает в глазах Монтеня неразрывность цепи, связывающей всех людей.

Эта цепь и составляет, по Монтеню, природный «субстрат» человеческого существования. Для автора «Опытов» значим лишь единственный повелитель – требование отказа, отказа от позиции палача и преследователя, от «жестокости, вероломства, эгоизма, бесчеловечности, ревности, тщеславия» - от всех побуждений, называемых у Монтеня одним словом – «бесчеловечность».

Всеобщая связь сочувствия – это и есть, согласно Монтеню, тот разумный принцип, который естественным образом противостоит неразумной, но, к сожалению, вполне реальной человеческой практике. Этика Монтеня – это *этика* *ненасилия*, или, по возможности, наименьшего насилия над всем живым.

Именно эта этика позволяет Монтеню в конечном счёте «примириться» с миром, принять его, но принять как бы на своих собственных условиях.

Французский исследователь Жан Старобинский показал, что **движение мысли Монтеня** специфично своей «трёхфазностью», прохождением через **три этапа.** На первом автор «Опытов», обнаружив, что «истинное» бытие запредельно, что первопричины вещей от нас ускользают, обрекая на жизнь в сугубо феноменальном мире «кажимостей», где господствуют «привычка» и «обычай» и где люди связаны отношением слепой зависимости и взаимного подчинения, готов в ужасе отпрянуть от такого мира. Это порождает вторую фазу, ведущую к идее самоизоляции – к обереганию внутренней свободы как единственно подлинного человеческого достояния.

Однако полная независимость от «других» не приносит Монтеню никакого внутреннего удовлетворения. Скептическое рассмотрение мира, обнаружение его (и своей собственной) онтологической «пустоты» как раз и приводит автора «Опытов» не к отвержению, а к приятию наличной действительности: коль скоро трансцендентное преодоление этой действительности невозможно, то, следовательно, не существует никакой скрытой реальности, во имя которой можно было бы отрицать «феномены», «кажимости». (Именно в этом пункте Ницше смыкается со столь чуждой уму в остальном философией Монтеня).

Исходя из этого, мы открываем невозможность доступа к «самой сущности истины», наш «посюсторонний» опыт немедленно обретает всё своё значение, полноту и «прелесть». Жизнь существует для того, чтобы её прожить, пережив во всех данных нам проявлениях. Привязанность к ней – вот что оказывается оборотной стороной скептического отрицания. На страницах «Опытов» не раз возникает **образ «ветра» как метафоры** для обозначения эфемерности земного существования и его разнообразных «приманок» (Я, говорит Монтень, «с упоением тешу себя всеми прелестями жизни», однако, «приглядываясь к ним повнимательнее, нахожу, чтобы они – всего-навсего дуновение ветра»). Жизнь среди себе подобных, в изменчивом мире – вот единственно доступное для человека «бытие», приковывающее и не отпускающее его от себя.

Так наступает третья фаза в развитии мысли Монтеня – возврат к первой фазе «триады», к «феноменальному» миру, к

человеческому обществу; возврат, наполненный *опытом* отрицания и

в то же время *обогащённый новым* взглядом на действительность.

Этот взгляд предполагает не рабское претерпевание зависимости от видимостей и от других людей, от их «мнений», требований и законов, но сознательное приятие «феноменальной» действительности и принятие на себя совершенно определённых обязательств перед окружающими, чувство *долга*, опорой которого как раз и служит взаимная «симпатия» людей – их природное качество.

В человеческом долге, как его понимает Монтень, нет ничего героического. Он скромен и сводится лишь к тому, чтобы «сохранять и поддерживать» жизнь. Говоря о своём пребывании на посту мэра, Монтень с удовлетворением вспоминал о выполненных обязательствах: «От меня требовалось лишь сохранять и поддерживать, а это дело довольно не значительное и незаметное. Вводить новшества – в этом действительно много настоящего блеска, но отваживаться на них – вещь в наши дни совершенно запретная».

Причина такой позиции, разумеется, не в «нерешительности» Монтеня и не в том, что он признаёт существующие порядки наилучшими или хотя бы приемлемыми. «Неразумие» мира для него очевидно, но именно поэтому он выступает за сохранение общественного спокойствия.

Всякое вмешательство в сложившееся положение вещей, любое, пусть самое искреннее, стремление изменить ситуацию к лучшему неизбежно приводят к беспорядку, несчастьям и разрушениям. Наличное зло по крайней мере отличается достоинством стабильности, тогда как всякая новаторская инициатива способна лишь усилить худшее. Живя в обстановке религиозно-политичских воин, ежечасно улаживая конфликты, примиряя амбиции, стремясь не дать пролиться крови, Монтень знал, что говорил: «Мне представляется, говоря начистоту, чрезмерным самолюбием и величайшим самомнением ставить свои взгляды до такой степени высоко, чтобы ради их торжества не останавливаться перед нарушением общественного спокойствия, перед столькими неизбежными бедствиями и ужасающей порчей нравов, которую приносят с собой гражданские войны».

Потрясения, случающиеся в человеческой жизни, Монтень сравнивает с болезнями, которые мало-помалу проходят сами, если мы имеем терпение их вынести: «…мы губим себя нетерпением. *Беды* наши *имеют свою жизнь и свой предел*, свои болезни и своё здоровье».

Монтень не питает иллюзий насчёт существующих обычаев и законов, которые чаще всего «создаются дураками, ещё чаще людьми, не справедливыми из-за своей ненависти к равенству, а всегда людьми – существами, действующими суетно и непоследовательно». Тем не менее, поскольку такие законы способны хоть как-то регулировать человеческое существование, им следует подчиняться – «не в силу того, что они справедливы, а лишь потому, что они являются законами».

Монтень слишком чувствителен к понятию ответственности, чтобы проповедовать пассивность и бездействие, но он стоит за своеобразную чистоту действия: «Я умел выполнять общественные обязанности, не отдаляясь от себя ни на одну пядь, и отдавать себя на службу другим, ничего не отнимая от самого себя». «**Дисциплина поступка**», о которой говорит Монтень, заключается в том, чтобы, сохраняя внутренний «покой» и «невозмутимость», иметь достаточно энергии и твёрдости для обеспечения *общественного мира, спокойствия и согласия.*

Итак, **монтеневская этика и его «мудрость»** заключаются в том, чтобы доверчиво прислушиваться к голосу человеческой «природы», «невежественно и беспечно» подчиняться «общему закону, управляющему Вселенной», но ни в коем случае не совершать над ним насилия: «Сколько бы я ни познавал, он не отклонится от своего пути, он не измениться ради меня».

Последовать «всеобщему закону», то есть довериться природе, значит найти путь к самому себе, научиться «улучшать несовершенное состояние» человеческой души. Это единственная достойная нас цель и единственный способ добиться этического «успеха»: «Тому, кто не постиг науки добра, всякая иная наука приносит лишь вред». Только наука добра способна дать человеку хоть какую-то устойчивою почву в изменчивом и зыбком мире, помочь, насколько это возможно, приумножить полноту и безграничность земного существования, лишённого «божественной поддержки».

Монтень не предлагает читателю никакой теории, никакой доктрины, которая объяснит истину жизни. Он хочет лишь найти наилучший практический способ, позволяющий «достойно» прожить отпущенный нам срок. «Человеческий удел», согласно Монтеню, не в отчаянном поиске ответов на вопросы или безнадёжном бунте против «творения», «творец» которого никак себя не обличает, а в открытом и сознательном *согласии*  до конца пережить и исчерпать «условия человеческого существования»: ведь в конечном счёте *это* и *есть наше бытие, это и есть наше всё*.

Исток драматизма монтеневской мысли в её двойственности. Он оказался как бы в промежуточном положении между ренессансно-гуманистической философской традицией XIV – XVI вв. и зародившимся в XVII в. научным рационализмом. Действительно, с одной стороны, находясь в русле гуманизма, Монтень развивает свою мысль в таком направлении, что оказывается на грани разрыва с рационализмом, а с другой – не делает того решающего шага, который мог бы превратить его в предшественника Декарта или Спинозы.

Мировоззрение людей эпохи возрождения носил ярко выраженный гуманистический характер. Человек в этом мировоззрении истолковывает себя как свободное существо, творец самого себя и окружающего мира. В философии этой эпохи значительно ослаблены мотивы греховной сущности человека, «испорченности его природы». Основная ставка делается не на помощь Божию – «благодать», а на собственные силы человека. Оптимизм, вера и безграничные возможности человека присущи философии этой эпохи. Европейские гуманисты хотели собрать и свести воедино все известные философские теории античности, которые могли бы приоткрыть покров тайны над «истиной бытия», разгадать загадки мироздания или вовсе сорвать этот покров, открыв людям «универсальную мудрость», однако это не удалось.

Хотя Монтень – человек века гуманизма, его познание составляет для него проблему, а отношение к древним таково, что он ни разу не пытался изложить целостную концепцию столь любимых им Плутарха или Сенеки, не говоря уже о прочих, менее близких ему философах. «Общение» с древними сводится для нег к вырыванию из контекста того или иного сочинения отдельных цитат или изречений, с которыми он вступает в серьезную игру – проверяет их, судит, одобряет или отвергает, причём суждение самого Монтеня никогда не бывает окончательным. Он берёт ту или иную проблему, указывает на трудности её решения, говорит о соей точке зрения и древних, пытается найти собственные подходы к волнующему его вопросу, в бессилии разводит руками – и всё это для того, чтобы вновь вернуться к той же теме на следующей странице, в следующей главе или в следующей книге своих «Опытов». Его мысль движется по кругу, в кругу одних и тех же проблем. Позицию Монтеня определяла не попытка развития или синтеза античной и гуманистической традиций, а принцип движения по отношению к ним, поэтому он никогда не решался сказать «последнее слово» и оттого словно иронизировал над читателем, и над самим собой: «Эти опыты – только проба моих природных способностей и ни в коем случае не испытание моих познаний».

«Опыты» Монтеня – произведение, по форме представляющее собой свободное сочетание размышлений, объединённых в главы –один из замечательных памятников культуры французского Возрождения.

Позиция Монтеня значительно отличается от установок философского рационализма, сложившегося в XVII в., поскольку разум монтеневского человека направлен лишь на поиски истины, а не на обретение её. Подвергнув критике собственный разум, усомнившись в традиционной картине мира, Монтень не сделал позитивного шага к новой постановке вопроса об истине, это станет задачей следующего века, следующего поколения философов.

**Список использованной литературы:**

1. Г. К. Косиков. Вступительная статья к книге Монтеня «Опыты»: ”Последний гуманист, или подвижная жизнь истины”. М., 1991 год.
2. В. В. Соколов. «Европейская философия XV - XVIII веков». Москва, 1984 год.
3. Н. Малевич. Статья: Идейное и художественное единство «Опытов» Монтеня // ” Вопросы литературы”. 1988 год № 8, стр. 253 - 270.
4. Б. Рассел. «История Западной Философии». Новосибирск, 2001 год.

**5.** А.Л. Доброхотов. Введение в философию: Учеб. пособие – часть 1.

## Москва, 1995 год.

**6.** Философский энциклопедический словарь. Москва, 1989 год.